

XVII

Десять часов утра. Стук в дверь.

– Войдите!

Передо мной высокий детина с мертвенно-бледным лицом, заросшим густой черной бородой, в очках, какие носят немецкие студенты, и в шляпе калабрийского бандита.

– Вы не узнаете меня?

– Право, нет.

– Я – Бридо[128]... Один из ваших учеников в Кане.

Да, да, припоминаю. Мальчик с такой фамилией был как раз в том отделении, которому я, будучи временным заместителем учителя риторики, рекомендовал ничего не делать.

– Ну что же, как сложилась ваша жизнь?

– Я подыхал с голоду! Получив аттестат бакалавра, я решил поступить на юридический факультет. Мой отец мог заплатить только за три семестра, не больше. Он – мелкий деревенский нотариус. Я считал его богатым, пока он однажды со слезами на глазах не признался мне, что он очень, очень беден... Полагаясь на свою репутацию хорошего ученика, я начал бегать по учебным заведениям... Не тут-то было! У тех, кто учился в Париже, есть еще какие-то связи, протекция их бывших учителей... Но провинциал, будь он семи пядей во лбу, мечтающий приложить свои знания между Монружем и Монмартром[129], может, не раздумывая, броситься в воду вниз головой!.. У меня оказалось больше мужества... Я стал рабочим, гравером. Я не такой уж искусный мастер, но и моим неловким резцом мне все-таки удастся заработать себе на жизнь... Сколько раз вспоминал я вас и то, что вы говорили нам по поводу университетского образования. Тогда я думал, что вы шутите! Ах, если б я вас послушал!.. Впрочем, дело не в этом. Я пришел не затем, чтобы хныкать перед вами. Вот уже три года, как я принадлежу к одной бланкистской секции. Секции хотят выступить!

Я схватил его за руки.

– Вы говорите, что секции хотят выступить?.. Так вот, не рассказывайте мне об этом, сохраните вашу тайну. Я не хочу, чтобы на меня легла какая-то доля ответственности за попытку, заранее обреченную на неудачу; единственным результатом ее будет то, что многих славных ребят засадят в Мазас и в Центральную тюрьму.

– Я выполняю возложенное на меня поручение. Вчера у нас зашел разговор о людях, которые не останутся равнодушными, если в каком-нибудь углу раздастся пистолетный выстрел. Ваше имя Бланки назвал первым; он знает вас по рассказам товарищей и решил, что вас нужно предупредить... Теперь вы можете поступать, как вам будет угодно. Я знаю, что вас не затащишь туда, куда вы сами не хотите идти, но все-таки будьте сегодня в два часа пополудни у казармы Виллетт – и вы увидите начало восстания.

Половина второго

Я пришел.

Они тоже пришли, черт возьми! Всего несколько человек: Бридо, Эд[130], – он делает мне знак головой, на что я отвечаю подмигиваньем, – смуглый субъект в фуражке, с пенсне на носу, сгорбленный старик с длинным кротким лицом, да плюс еще какой-то тип.

Бланки стоит немного поодаль, возле бродячего фокусника.

Тра-та-та!

– Милостивые государины и милостивые государи, покупайте мой порошок для чистки!.. Представьте себе, что вы в гостях у жены министра и снимаете нагар со свечи... Тогда вы сыплете немного моего порошка... И скоморох, не переставая расхваливать свой товар, подходит время от времени к красно-бурому барабану, чтобы выбить на нем дробь своей магической палочкой.

Уж не на этом ли ярмарочном барабане будут бить призыв к атаке, любезный Бридо?

– А, гражданин Вентра! Давно уж нам нужно свести с вами счеты. Наконец-то вы мне попались... теперь уж я вас не выпущу.

Я случайно столкнулся нос к носу с одним механиком из этого квартала; у нас с ним не раз бывали стычки. Он – коммунист, я – нет.

Он и в самом деле не выпускает меня и заставляет проводить его немного.

Он пристает ко мне с вопросами, я отвечаю. Но мысли мои далеко. Я невольно прислушиваюсь, не донесет ли теплый ветерок, овевающий наши головы, эхо перестрелки; и в ту минуту, когда мой собеседник спрашивает в упор, какие у меня имеются возражения против коллективной собственности, – я думаю о Бридо, об Эде и о Бланки.

Почему вдруг умолк барабан шута?

– Признайтесь, что вы разбиты! – говорит механик, весело чокаясь со мной. – Если б только нам удалось захватить власть!

Власть? Вон там, около фигляра, их шестеро, готовых уже овладеть ею.

Но я не говорю об этом товарищу, – не считаю себя вправе.

Довольствуюсь тем, что спрашиваю, может ли, по его мнению, движение, руководимое воинственно настроенными людьми, увлечь народ против империи.

Он берет спичку и медленно проводит ею о штаны.

– Смотрите, достаточно будет сделать вот так, и все вспыхнет. Только вот так!

– Вы уверены, дружище?

А между тем, если б что-нибудь произошло, мы знали бы это здесь... Но пока ничего!

Очевидно, в тот момент, когда фокусник жонглировал своими шариками, их схватили в толпе, да так, что они даже и ахнуть не успели, и теперь шпики вылавливают подозрительных.

4 часа

Ни шума, ни волнения!

Рабочие, вырядившись в новые пиджаки, прогуливаются со своими расфранченными женами. Старшие сестры тащат за руки маленьких братишек, останавливаясь перед выставленными на витринах картинками и сладостями. В мозолистых руках виднеются цветы, и на лицах всех этих тружеников написано желание отдыха и покоя.

Воскресенье – неудачный день для восстаний.

Никому не хочется портить свое лучшее платье, лишать себя угощения в кафе, на которое давно уже отложено несколько су; к тому же это единственный день в неделю, когда можно побыть в кругу своей семьи, навестить старика отца, повидать друзей.

Не следует призывать к оружию в дни, когда бедняки принаряжаются, когда они, промечтав об этом целую неделю в своих мрачных жилищах, устраивают пирушку в веселом, увитом зеленью ресторанчике.

Поэт Гюстав Матьё[131] и волосатый Реньяр, поймав меня за столиком в ресторане Дювала, где я только что уселся, сообщают мне, что человек тридцать осадили казарму[132] пожарников в квартале Ла-Вилетт и открыли огонь по полицейским.

И, по-видимому, уложили одного или двух.

– Преступники! – говорит Матьё.

– Идиоты! – кричит Реньяр, которому, как бланкисту, самому полагалось бы там быть.

Идиоты! Преступники!.. – эти честные, смелые люди...

Необходимо в ближайший день обсудить все это.

Эд и Бридо арестованы по собственной неосторожности.

Военный суд выносит смертный приговор.

Как их спасти?

Быть может, на общественное мнение воздействует письмо какой-нибудь популярной, знаменитой личности?

И мы ищем, кто бы мог составить и подписать это письмо величайшей важности.

Трудное дело.

Осужденные заявили, что они отвергнут всякое ходатайство о помиловании, возбужденное перед империей; да и мы сами не хотели бы, во имя их, допустить какую-нибудь слабость, – даже ради их спасения.

Люди убеждений – ужасный народ.

Но все же мы думаем, что, если заговорит такая величина, как Мишле, – его услышат... и, возможно, прислушаются к его словам.

Рожар[133], Эмбер, Реньяр, я и еще несколько человек отправляемся к нему.

Он предстал перед нами таким, каков он есть: величественный и женственный, красноречивый и чудаковатый.

Он сразу согласился и захотел только узнать, кому будет направлено это послание, которое, не походя на просьбу, должно вместе с тем иметь целью отмену смертного приговора.

– Вождям обороны! – предложил я.

– Хорошо, очень хорошо!

Он встает и проходит в соседнюю комнату, оставляя нас на минуту одних.

Затем возвращается и снова садится за стол, вокруг которого мы столпились, безмолвные и взволнованные.

– Сударь, – произносит он, обращаясь ко мне, тоном человека, передающего слова оракула, – мадам Мишле того же мнения, что и вы.

И мы приступаем к составлению письма.

Он не любит Бланки и в первой же строчке своего черновика взваливает на него ответственность за выступление и за приговор.

– Наши товарищи, – заявляет один из нас, – не согласятся даже для спасения своей жизни отречься от своего вождя...

Он закусывает губы, кряхтит «гм! гм!» и снова исчезает, но ненадолго и, вернувшись, говорит нам:

– Решительно, господа, женщины на вашей стороне; мадам Мишле понимает вашу щепетильность и одобряет ее. Вычеркнем эту фразу.

Наконец, когда уже все кончено, он идет еще раз посоветоваться со своей Эгерией. Мы смеемся, но со слезами умиления на глазах.

Он обратился к сердцу той, кто являлась подругой его жизни и спутником его идей. И это сердце высказалось, как и наши, за жизнь и честь наших друзей.

Мишле шагает из угла в угол.

– Они не посмеют их убить, я не допускаю этого... Такие стоят чудесные дни! При таком солнце кровь оставила бы на газоне слишком отвратительное пятно... буржуа не захотят расположиться на травке, если от нее будет пахнуть трупом. Они присоединятся к нам, вы увидите. Во всяком случае, я ручаюсь вам, что они не расстреляют их в воскресенье.

Воззвание заканчивалось приблизительно такими словами:

Господь взирает на народы...

Господь... Слово это не очень-то пришлось по вкусу нашей четверке атеистов, и мы встретили его гримасами и молчанием.

Мишле смотрит на наши физиономии и, пожимая плечами, говорит:

– Ну да, я понимаю... Но это звучит хорошо.

Мы отправились с письмом по редакциям, причем все оспаривали друг у друга эту честь.

А, черт возьми! Как хорошо, что я не принадлежу ни к какой группе, ни к какой церкви, ни к какой клике.

По-видимому, есть два течения в бланкизме, и каждое из них отказывает другому в праве спасти головы осужденных.

И эти головы скатились бы, если б их судьба была предоставлена группе, которая соглашалась помешать казни лишь в том случае, если вся слава по отмене приговора выпадет на ее долю.

К счастью, кончилось тем, что дело было поручено независимым, вроде меня, и мы обошли все органы прессы.

В «Деба» человек, которого нам называли Максимом Дюканом[134], негодуя потряс головой, слушая нас. Он жесток к побежденным.

Почти всюду письмо было принято как хорошая рукопись и напечатано, но без единой строчки сочувствия или жалости.

Тогда мы бросились к депутатам Парижа, которые, кстати сказать, почти неуловимы. Они надавали нам неопределенных обещаний, а у некоторых срывались даже оскорбительные слова, так что приходилось заставлять их замолчать.

Гамбетта резко выступает против осужденных и требует с трибуны, чтобы их наказали как действующих заодно с врагами родины.

Ах, бандит! Ему-то лучше, чем кому-либо другому, известно, что это – смелые и мужественные люди. Но такие люди беспокоят его, они – угроза его будущему. Кто знает, не удастся ли ему выудить себе диктатуру в мутной крови поражения? Так почему же не отделаться от этих непокорных при помощи солдат империи?

Коллеги Гамбетты тоже колеблются, – настолько они чувствуют над собой его власть. Однако они не захлопывают перед нами дверей, потому что атмосфера достаточно накалена и они боятся, как бы во время восстания, – а оно может вспыхнуть каждую минуту,

– их отказ не прицепили к их депутатской перевязи, как прицепили некогда фонарь к груди герцога Энгиенского[135], – чтобы виднее было, куда стрелять.

Версия #1

создал 30 апреля 2026 15:14:49

обновил 2 мая 2026 13:23:59